

П

чела села на изрезанную морщинами руку, но баба Дуся даже не пошевелила мизинцем, чтобы прогнать золотую мушку.

— Пчелка золотая... — Баба Дуся ближе поднесла руку к глазам и стала любовно разглядывать, как та что-то выискивала среди морщинок и жил. — Что же ты жужжишь?

— Укусит, — забеспокоились женщины на скамейке. — Ужалит!

А пчела, как трель в дрожащем воздухе.

— Нет, пчела, она когда зря не кусает. Она мушка умная. Мой дед с этой пчелой всю жизнь. Да вот в больнице... Не хотел дед в больницу ложиться, да, спасибо, я уговорила. А как обвыкся там, так и про меня, старуху свою, забыл. — Маленькая баба Дуся покачивала детскую коляску и вела разговор с народом на скамеечке. — Ну, по второй недельке домой все же запросился. — Улыбнулась, морщинками играя.

К ней испытывали невольное уважение, будто ее муж или брат были героями этого небольшого города.

Пчела вернулась, опять исследуя, кто сегодня из бабушек-старушек варил варенье.

— Пчелочка золотая, что же ты жужжишь?.. — пропела баба Дуся и вдруг дерзко, по-женски хитровато взглянула на

всех выцветшими голубоватыми глазами и доверительным шепотом поделилась:

— Видать, заскучал.

Пчела полетала над скамеечкой, но ни на кого не села и никого не напугала, и ее уже не боялись и не пугали, махая руками. Исполнила золотая пчелка свой небесный отрешенный ноктюрн и улетела.

— Ну, вот и сейчас вторую неделю живу у дочери, а мой Михаил уже зовет меня. А ведь уговорились: буду месяц гостить... Молчал, молчал, потом отпустил меня все ж. «Съезди, — говорит, — тебе все одно ночью не спишься. Понянчишь». А сам телеграмму вчера прислал. Приезжай, а то помру. Нет бы в письме, что да как, написать, а то телеграммой, страсть как напугал. Ну, вправду заболел, а может, дурит? Надо ехать! — Затянула потуже синий шерстяной платок, морщинка между бровями пересекла лоб до самой линии волос.

Налетал ветер. Но пенсионерам со скамейки уходить по изолированным квартирам не хотелось. Одевались потеплее, собирались к подъезду бабы Дуся. Интересно иногда посидеть среди них, да времени не хватает.

— По весне-то он у меня в больнице лежал: кашлял. — Баба Дуся говорить умела, вроде ни на кого не глядит, ни с кем спор не ведет, а все слушают. — Легкие лечили. Страсть сколько уколов принял. Ну, больница у нас хоть и небольшая, в два этажа, а хорошая, теплая, чистая, и все врачи есть. А кто совсем тяжелей, того в город везут. Таких-то, как мой дед, сами лечат. Не нравится деду моему, что больницу вместо церкви построили, за парком. Из окна и лес, и речку, и наш поселок далеко видеть. Прямо тебе дом отдыха, ну нет, заскучал дед мой, домой запросился. А ему врачи: «Отдыхай, дедуля. Недельку еще полежите, курс надо закончить»... Ну и ждет курсов утром и вечером мой дед. Подойдет медсестра. Она такая, как лисичка. А сама шприц так легко держит, словно играет, и улыбается. Лицо узенькое. И говорит быстро, быстро, будто стреляет буквами: «Укольчики, укольчики». Молоденькая, тоненькая, страсть какая, прямо балерина. Практику после учебы проходит. И так утро-вечер, утро-вечер — практика. Крякнет дед, да молчит. Такие-то наши курсы стариковские...

Подняла руку перекреститься, вздохнула, посмотрела в окно, опять вздохнула и продолжала:

— А я хожу к своему деду, гостинцы ношу: то яблочка, то огурчика соленого, картошечки домашней, отварной, медку стаканчик принесу. А что еще надо больному да старому человеку? Ну, а когда у самой в голове гудит, точно самовар, ну, думаю, дед, сегодня не приду, а назавтра получше вроде, опять иду. Скучно одной, страсть как.

Она сжалась, ссутулилась, лицо, как пожухлый лист дуба, зябнет, высыхает, горюет по теплomu солнышку.

— А ему-то веселей. В палате их двое.

К скамейке еще подошли две старушки и, молча, уважительно оставились: может, опять что про политику расскажут, кого куда выбирать, кто за кого теперь будет голосовать. Пойди, разберись, каждый день ветер с другой стороны дует. А в их дворе и вообще сквозняк и солнца нет. Дома-то по двенадцать этажей, это не свой домик в деревне. А на даче на зиму не останешься.

— Вроде как с почетом положили моего деда... Ветеран! — Баба Дуся помолчала ровно столько, чтобы вызвать уважение к «ветерану».

Закрывали, слушающая, старушки на осенней скамеечке, мол, знаем, знаем — добродетель вознаграждается долгой жизнью.

— Мой-то Михаил долго покашливал, а тот, второй, с чем-то другим лежал — не кашлял. Молодой еще мужчина, не на пенсии. Он-то курсы свои быстро прошел — выписался. — Лицо ее от прожитой жизни сильно изменилось, лоб открытый и высокий, но, кажется, что все кости обтянуты какой-то складчатой кожей — сплошь морщины, морщины. — Ну, привели другого. Этого-то мы с дедом знали, как не знать. Петровича привели, вот ведь Бог свел двух друзей-товарищей. Петрович этот на один вопрос десять ответов даст. Ох, и любил говорить! Не то, что первый-то, молодой, все молчал и молчал... А этот специалист в словах-то. А потом, уже под пенсию, работал мой дед с ним недолгое время, да ушел от него скоро. Мой дед хитрить не любит, воровать не умеет — нутро не так устроено. Не крал, не врал. А Петровича поставили начальником над дедом. Он вначале-то, как мой Михаил, сам работал: на заводе слесарил. Потом по здоровью на хоздвор перешел. Вот с хоздвора все и началось. Тогда они вместе с дедом мало поработали. Да вдруг Петровича поставили завхозом. Ну, тут человека как подменили, прямо страсть, чисто ходить стал по хоздвору, при галстукке. И когда ж это ему Нюрка выглаживала все, сроду утюга в руки не брала. С «ты» на «вы» стал звать, ну смех, да и только. Я своему деду говорю: «Смотри, как человек переменялся, гладкий стал, культурно оделся, вот бы и ты так, и тебе бы нашлось место, где хребет не ломать». А дед только смотрит на меня: шучу я или всерьез. Молчит. Ну а я вижу: места себе не находит. Петрович-то вроде дружком его был. Давно знал его дед, воевали на одном фронте. Кое-кто уж над моим-то и посмеиваться стал: позавидовал ты, дед, дружку-то своему, не стерпел его власти над собой. А мой возьми да и скажи: «Ну, ладно, те жуликами и родились, а этот ведь человеком был...»

И заявление подал.

Петрович два раза домой к нам приходил, уговаривал остаться. Заявление порвал. А мой: «Нет!» И все. «Не могу, — говорит, — теперь тебя видеть». А тот все одно твердит: «Я тоже, как человек, пожить хочу. Все так живут. Я как все...»

Ну, мой после этих разговоров совсем сбесился: «Все... Научились. Взяли моду. Все! Чуть что — все... Единогласно, значит? А вот я — против! Меня кто спросил?! Все...»

Я осерчала, да ему в ответ:

— А кто ж тебя будет спрашивать, если ты все молчишь... Не крал, не врал, а молчал!

Так обиделся на мои слова, страсть как: молчит день, молчит два. Пока от Петровича не уволился, так и молчал. А Петрович-то на пенсию ушел с замдиректоров, с почетом, хорошую пенсию ему дали.

...Ну, как зашел Петрович в палату к моему — увидал его дед, опять замолчал. Приду, а он выйдет и молчит. Я ему: «Что ты на меня злишься?.. Я тебе, что ли, твою Александра Петровича подсунула?» Ну, потом вижу: вроде повеселел, видно, поговорили, простил, пожалел, Петрович-то тяжел уж был.

Зашла я как-то в палату, поглядела на дедова начальника, лежит полный, не худел, лицом круглый, а бледный, как мел, ну я и спрашиваю:

— Что у вас болит-то, Александр Петрович?

Это я его, как начальника, с Петровичем-то, чтоб ему приятно было, больной человек-то.

— Все болит.

— А лицом-то вы гладкий...

А он мне:

— Да что лицо, я вот дышать не могу, все будто воздуха не хватает...

Гляжу я, впрямь мается: в руке пальцы жмет, жмет, потом рот откроет, воздуху глотнет, вроде как зевок такой, и будто ему легче. А руками вверх-вниз, вверх-вниз — зарядку делает. А сам лежит высоко на двух домашних подушках, лежит, ну барин тебе. Нюрка-то ему всего и несет, и везет, чего у других нет: то лимон облизывает, то виноград сосет, и балыки, и шашлыки, и черную икру, и красную... И деду моему предлагает, а дед мой гордый, не берет... Так Петрович-то размажет на хлебе и мусолит, мусолит. Каждую икринку языком-то слизывает, раскусит, пососет, страсть смотреть-то. Да еще рассуждает, что черная-то икра не то, что эта... Во всей банке-то, небось, икринки пересчитал. Ох, батюшки, грех какой. А колют ему все лекарства хорошие. Нюрка где-то доставала, видно, не зря в люди-то спешил выбиться, чувствовал... А наших-то все нашими лекарствами лечили...

Вдруг мой дед тоже запросил икры и лимону. А где ж я ему?.. Я страсть как осерчала, два дня к нему не ходила. Медок у него есть, варенье всякие, а он, вишь, чего захотел. Ну, в городе бы жили, купила бы штучку пососать, а тут где ж я ему возьму. Совсем спятил мой дед, забарствовал. Да, хорошо, выписали скоро. Хоть не поправился телом, такой же худой пришел из больницы, а кашлять почти перестал. Полегчало. Дед-то мой сухонький, как на войне-то подсох, так и не поправлялся больше. От истощения в войну-то в Москве лечили. Когда из плена бежал, месяц лесами шел, корнями, грибами да травой питался... И, правда, пил после войны, страсть, сколько пил, словно пожар внутри заливал. А как занялся пчелами, пить бросил. Сам. Еще до больницы, без всяких уколов и гипнозов ихних. Сам бросил. И курить перестал. Сам! Без таблеток. А как усох тогда, так и не поправляется.

А пчелу-то мы в прошлом лете ликвидировали: выезжать сил нет, а возле дома стоять будет — пропадет, все химия везде, все травят, а пчелке чистый цветочек нужен, нектар берет, медок. А дед мой, ой, как любит пчелу! «Золотая мушка, — говорит, — природу понимает». Как пчелу-то решил продать, так мой дед аж заболел. А красиво утром на заре: пчелки зажужжали, полетели...

Вдруг люлька зашевелилась, раздалось детское сопение, и, казалось, вот-вот вырвется крик. Баба Дуся встала и несильно потрясла ручку коляски, приговаривая:

— Спи, спи, ишь зачехуршился. Рано еще кормиться, пусть мать от тебя отдохнет. Спи. Ну вот... Спи, спи...

— Ой! Пчела! — Женщины замахали руками.

Пчела исполняла незаконченную мысль из одного мотива...

Баба Дуся, постояв, заглянула в коляску и, не спеша, села:

— Вот иду я как-то: на крыльце стоит Нюрка, ну жена-то Петровича, что икру лизал.

— Что это ты стоишь? — спрашиваю.

— Заходи, — говорит она.

Ну, я поднимаюсь на крыльцо. А сама на нее смотрю и опять:

— Какие дела?

А она мне:

— Проходи, увидишь, какие мои дела...

И дверь открывает в дом, а меня вперед пропускает. Вхожу, а прямо передо мной — гроб. А в гробу он, Петрович-то. Ну, я так и онемела. Смотрю, а слова сказать не могу, страсть, как напугалась.

А Нюрка мне:

— Вот такие мои дела... И что я только не давала врачам, чего только не несла в больницу... А он в последнее время мне все говорил, что, мол, Нюра, ничего не жалея: здоровье будет — все будет... Тыщи на больницу ушли. Выписали, а дома-то помер. Да уж, видно, такой человек: лицо — как яйцо, а внутри болтун...

Да, так и сказала мне.

А я так говорю:

— А зачем вы даете? Кто у вас просит? Кто заставляет? Вот так. Не давай! А кто даст — тот помрет. Я вас спрашиваю: «Зачем вы даете?»

А дед мой молчал, молчал, а потом говорит:

— Дает тот, кто сам берет. Они, эти деньги, с душком, долго не задерживаются, так и ходят с рук на руки, пока за руку не схватят, или сам не помрет... Если этот душок к рукам прилипнет — не отмоешь: едкий больно.

Вдруг громко заплакал ребенок.

— А! Вот! — вскочила женщина и замахала руками. — Там пчела! Пчела!

В коляске жужжала пчела: «Д-жю! Д-жю!» Баба Дуся неторопливо повела рукой, и пчела вылетела. Потом старушка затянула концы синего платка, встала, маленькая, ссутулившаяся. Поправила одеяльце в коляске и, поклонившись всем, повезла внучка к подъезду:

— Все, все. Еду, молчи, проснулся... Услышал... Все понимает. В деда Михаила пошел.

А глаза бабы Дуси так живым небесным светом и поблескивают, а голос — ласковый, шуршащий, как дубовые листья осенью.

ВОЙНА КРОВЬ ЛЮБИТ

Ольга Федоровна до войны была женой дипломата, знала английский, идиш, украинский, говорила по-немецки. Жила она с мужем и в Чикаго, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне... До войны жизнь была райская. В тридцать восьмом, когда вернулись из-за границы, она работала администратором в гостинице. Приходил Славусик к бабушке в гостиницу: там ему и мороженое, и пирожное, и шоколад — кормили, откармливали...

— Я считаю себя счастливым человеком, — говорила Ольга Федоровна, глядя по голове четырехлетнего Славусика. — Счастливый тот человек, кому всегда помогает случай.

Но вдруг началась война. Дедушка и отец Славусика ушли на фронт. На второе военное лето, двадцать восьмого июня, война докатилась до порога дома, где жил Славусик с бабушкой, мамой и годовалым Тимой. Шли танки, летели самолеты со стороны Курска через Касторное и Горшечное; и со стороны Волчанска через Острогужск шли, а шестого июля немцы ворвались в западную часть Воронежа, занимая правый берег. Ольга Федоровна, дочь ее и два внука спрятались в подвале у Марфуши. Дом ее был рядом с Чижовским плацдармом.

Смотрит Славусик из подвала — наклонился немец с автоматом.

— Вэк! Вэк! Вэк! — выгнал бабушку, мать с Тимой на руках и Славусика.

— Здесь только дети и женщины, — на немецком сказала ему Ольга Федоровна.

— Приказ — в течение двадцати четырех часов всем жителям оставить город, — сказал немец.

Ольга Федоровна дала ему пакетик — подарок мужа-дипломата. И он не бил их. Выгнали всех, погнали колонной в сторону военного городка. Там ложбина. И всех по этой ложбине, как овец, гонят. На руках у матери был маленький брат. Бабушка несла одежду, сухари и кильку. Славусика за руку никто не вел, сам шел. Кто-то падал и поднимался — жарко было, воды не было; кто-то падал и не поднимался. Пригнали в Курбатово. Тут пересылочный лагерь огражден колючей проволокой в два ряда, как тюрьма, на вышках — немцы-охранники. Внизу — собаки.

У матери хватило сил донести Тиму, а Славусик дошел сам. Бабушкин мешочек по дороге стал легким, пустым.

По дороге немцы никого не кормили. Все, что было у кого, то и ели. Жители села, кто свеклу бросит через колючую проволоку, кто морковку, кто вареную в мундирах картофелину. В бочках привозили воду. И была килька у бабушки. Есть хочется — поел кильки. Поел — пить хочется. Вода теплая: чем больше пьешь, тем больше пить хочется.

Потом стали сортировать людей. Одних — загнали в телячий вагон, повезли, других — оставили. Привезли на станцию Головинка. Немцы всех выгнали из вагонов во временный пересылочный концлагерь.

Несколько дней пробыли здесь. Ждали — оставят в живых, не оставят... Отобранных людей опять грузили в телячьи вагоны и отправляли кого в Германию, кого в Курскую область. В селе Чернянка в концлагере — голод, болезни.

— Вы ни разу не ели конский навоз? Такой деликатес, — говорит молодая Нина Ольге Федоровне. — Мы только на нем и выживаем... Здесь конюшня. Собираем навоз и все, что не переварилось в желудке лошади, все это едим.

— Как «едим»?

— Промываем, намываем.

— Как золото?

Дети такого возраста, как Славусик, быстро воровать научились, таскали овес у лошадей. Обойдут конюшню, доску отодвинут, залезут рукой, овса схватят и за пазуху. Захватил и Славусик овса горсть — и за пазуху, другой мальчик захватил, третий... Но немцы увидели — казнили. Детей убивали на глазах у детей — запугивали. Дети все видели: насадил ребенка на штык — только крик взметнулся, вырвался и замер. Вскрикнул еще один мальчик. Вскрикнул другой. Славусик тоже вскрикнул, но своего крика не услышал. Потом — все молчат. Молчит и Славусик. Страх и молчание. Все боятся. Боятся и Славусик. Страх вживляется в кровь и в мозг. Немец сказал, что мальчик на штыке — это глупый мальчик. Он бежать хотел. Он врать хотел. Он обман хотел делать немецкому солдату. Этот мальчик пошел в туалет. Это было недалеко. Вот в этом проходе все было. За туалетом. Там забор, там вход в конюшню.

Туалет — яма и два бревна. Вот туалет. Грязь. Вонь. И смерть.

Дети забрались на ступеньки — смотрят: была хлебрезка у немцев. Смотрит и Славусик. Видит — стоит немец, в форме и в белой

одежде. Славусик дышит, хлеб в поздрах шкочет. Немец оглянется, улыбнется и продолжает свою работу. Славусик тоже улыбнется. Немец отрежет, даст ломоть хлеба. Все звали его «добрый немец». Подходит Славусик в хлеборезку в другой раз, стоит, смотрит: другой немец посмотрит на Славусика и продолжает работать. Славусик улыбается. Взял немец тоже отрезал хлеб, подходит. Славусик руку протянул. А тот хват за шиворот Славусика... Да как ударит! Покатился со ступенек головой вниз.

А утром начался осмотр. Все немцы-врачи в белых халатах с большим санитарным крестом. Вышли из машины и начали всех осматривать, кровь брать из вены. Спрятаться или бежать детям было невозможно.

Взяли кровь и уехали. На другой день отобрали детей человек десять, у кого первая группа крови, резус-фактор положительный, и в госпиталь (под Курском немецкий танковый полк в бою был — раненым немцам нужна свежая кровь). От матерей детей сразу забрали. Госпиталь недалеко от концлагеря. В госпитале были экспериментальные бараки. Здоровые дети делились на доноров, кожников, плазменников. Славусик донор был, потому что у него первая группа крови, резус-фактор положительный.

Мысли о побеге берегли, как надежду, и дети и взрослые. Но война с надеждой, верой и любовью расправляется очень жестоко. Дети знали от взрослых, что на пути эвакуации триста человек военнопленных красноармейцев и сто шестьдесят человек актива Чернянского района в деревне Гусек были наглухо закрыты в здании, облиты бензином и сожжены. Пытавшихся бежать расстреливали на месте. Мадыарская охрана ждала до полного сожжения.

Ольга Федоровна знала, что Славусика забрали в госпиталь. Но это далеко было — десять-пятнадцать километров. Сельские люди ходили туда пешком. Но бабушка и мать Славусика были пленными, их не пускали.

В госпитале детей кормили. Убирали за детьми русские женщины из селения. Ольга Федоровна расспрашивала деревенских о Славусике. Потом она нашла одного доброго немца и спрашивала его. Добрый немец любил красивых женщин, и охотно все ей рассказывал. И она из рассказов видела: на кровати лежит Славусик. Это комната, где переливание крови. Руку протянул. Из руки Славусика в руку немца кровь русская течет, кровь родная — первая группа, резус-фактор положительный. И четырехлетний мальчик знал: возьмут кровь — будешь жить. Больно было только, когда укол делали. Но не так больно стало, когда надрезали вену на внутреннем сгибе локтя, вживили канюлю-трубочку.

— Тепер не болно? — улыбается молодая немка, ломая русский язык. — Война кроф любит. А ты любит сахарин? Это тфоя конфета за то, что ты хорош русский малчик. Ты хочеш конфета?

— Да, — Славусик улыбается от страха.

— Не болно? — гладит руку мальчику от запястья к сгибу локтя. — Это есть немецкий эксперимент — канюля.

Крови надо — открывали канюлю, маленькую пластиковую трубочку, вживленную в вену, и требовали:

— Кулачком! Работай кулачком. Кулачком!

Славусик начинает морщиться, пищать... Только посмотрит на него молодая немка в белом халате, и замолкает Славусик. Страх сильнее боли.

— Кулачком! Кулачком работать, киндер! Кроф, кроф дать!

Немка в белом халате делала забор крови и уходила. После того, как забор крови кончится, Славусику давали лакомство.

— Конфет любишь?

— Да.

— А что еще?

— Хлеб с эрзацем. Чай с сахарином.

Немцы знали генную инженерию: кровь брали только у детей с четырех до двенадцати лет. После двенадцати лет проявляется родословная наследственность: у кого эпилепсия, у кого лейкомия.

Были плазменники среди детей. Кровь у них на плазму брали. Были кожники. Если в танке обгорит танкист немецкий, то с русских детей кожу снимали, брали определенную часть кожи, начиная со спины, с боков...

Тех, у кого брали пункцию, иногда били. Ребенок не понимал, упирался, и тогда начинали пугать или бить. Этот элемент страха жил в крови, в коже, в спинномозговой жидкости. И потом дети знали: если из тебя не будут брать кровь, то тебя расстреляют или будут бить.

К мальчикам молодая немка стала хуже относиться: хлеба с эрзацем не дает, толкает, кричит, руку заламывает:

— Это есть русский грязь. Плохой киндер!

Сначала началось отторжение канюли у мальчика, чья кроватка была рядом. Нагноение все сильнее и сильнее. Мальчик исчез. Славусик к нему привык и долго плакал. Славусик пугался молодой немки, плакал ночью и звал маму.

— Я еще могу дать! Возьмите с меня кровь! Не убивайте меня! — плакал Славусик, испуганно хватаясь за белый халат молодой немки. — Я еще хочу дать кровь.

Молодая немка отвернулась — дети, как смертники... стараются хоть как-то выкарабкаться.

Однажды у Славусика брали пункцию. Славусик боялся все время. Вот его нагибают, вот голову между ног зажали. И... шприц — в позвоночник.

* * *

Мать Славусика была до войны красивая женщина. И еще была с ними семнадцатилетняя Ниночка. Их брали немцы для забавы... После этого они давали им хлеб, они, немцы, были «благодарные». Однажды Ниночка принесла хлеб и немецкую листовку. Хлеб делили на всех. Чтобы всем по кусочку по маленькому хватило. Ольга Федоровна хлеб, который приносила дочь, не ела. Она читала листовку на немецком и плакала. «Солдаты! За два года войны вся Европа склонилась перед вами. Ваши знамена прошелестели над городами Европы. Вам осталось взять Воронеж. Вот он перед вами. Возьмите его, заставьте склониться. Воронеж — это конец войны. Воронеж — это отдых. Вперед!»

Пришла пьяная Нина, смеется и плачет, и хлеб свой делит на всех. Дочь Ольги Федоровны брали редко, а Нину молодую все чаще и чаще. Однажды там что-то произошло, ее избили сильно. Через день Нина молодая исчезла. А дочь Ольги Федоровны ослепла.

В июле в концлагере режим ожесточился, оттого что приближались русские войска. Тима умер от голода. Бросили в общую братскую могилу, где копошились полуживые. Карболкой полили сверху. Чуть-чуть присыпали землей. Колыхалась черная земля всю ночь. Мать упала, рыдая, билась о землю, слепыми глазами искала сына в вечной темноте.

— Дочка, думай о Славусике, — поднимала с земли ослепленную дочь Ольга Федоровна. — Покорись беде, и беда покорится.

— Будьте вы прокляты, изверги-фашисты!

— Тихо, дочка! Расстреляют... Встань. Славусик там один. Ты ему нужна. Ты мать. Терпи. Господи, дай нам терпения.

А наутро стрельба и грохот приблизились. Немцы, которые охраняли концлагерь, бросились бежать. Тех, кто в лагере остался из пленных, расстреливали. Кто из детей спрятался, успел — уцелел. Прятались, как мыши. Потом, когда все стихло, вышли. Видят, охраны нет — дети бросились бежать.

Русская женщина из селения увидела их и сказала:

— Бегите в селение. Спасайтесь. Вот по этой дороге и бегите...

Когда Славусик побежал — наварлся на часового. Часовой оттолкнул, штыком проткнул ногу, но не выстрелил.

Долго бегать Славусик не мог и отстал от детей. Он упал и то ли сознание потерял, то ли заснул... Лежал, лежал и вдруг проснулся — над ним мать, рукой его по лицу гладит, словно ищет глаза, рот, брови...

— Нашла? — спросил он, улыбаясь. — Мама!

— Сыночек... Живой...

— А братик где, Тима? — спросил он. — Где Тима?

— Ни моря без воды, ни войны без крови, — бабушка склонилась, по голове гладит, плачет и шепчет: — Господи, за что детей наших так? В чем они провинились? Пощади их, Господи! Не поработимся врагом хулячим...

— Тима придет? — трет глаза спросонья Славусик.

— Вставай, пойдём домой добираться. Ты один у нас остался, родненький, — бабушка поцеловала его.

Ольга Федоровна, ее слепая дочь и Славусик возвращались домой и в товарняках, и на лошадях, и пешком, как калики перехожие. Идут от станции к станции, от деревни к деревне. Есть хочется. Мать купила немного еды на последние деньги. Три червонца стоила буханка хлеба. Съели. Сидят день, сидят два дня на станции, ждут, может, в товарняк удастся сесть тайком. Вот села рядом женщина-военнослужащая, раскрыла узелок, запахло хлебом, салом. У Славусика в животе голод болью отозвался, а глаза горят, просят. Она кусочек хлеба дала. Но Славусик хлеб не ел, он сосал хлеб. У Славусика крестик был позолоченный, от братика остался. Мать его обменяла у военнослужащей на хлеб. Ленточка от крестика осталась.

В другом месте, в селе, мать свой платок обменяла на молоко. И давала по капельке Славусику по дороге, когда шли. Славусик подсмотрел, куда мать бутылочку с молоком прячет, и только мать от усталости заснула, он стащил и все одним разом выпил. Проснулась мать, а сына кормить нечем. Дети воришки, конечно, были. Но тогда люди были доброжелательные, больше прощали, больше жалели.

Вот пустили на ночь в дом Славусика с бабушкой и с мамой. Каждый,

кого пукали из милости в дом, что-то делал, помогал по хозяйству. Женщины просят: «Вот поищите в голове». Поищут. Садится женщина к старушке, расчесывает волосы на голове и давит, душит вшей, гнид.

У хозяйки был сундук. Славусик заметил, что хозяйка в этот сундук складывала все и закрывала на замок. Однажды ушли все рано утром. И матери нет. Славусик нашел топор возле печи. Сорвал этот замок. Залез туда. И смотрит: кусок такой завернут в тряпку. Халва?! От жадности — хватать! Нахватался. Голодный. А это оказалось мыло.

— Что ж никого пустить нельзя! Что ж из людей сделали? Воров. Как с ворами-то жить? — сокрушалась хозяйка, обнаружив взлом. — Ни от камня плода, ни от вора добра!

— Не зарекайся красть — нужда лиха, — Ольга Федоровна защитила внука. — Голодный и архиерей украдет.

— Вор вором подавился! — ворчала хозяйка. — Как же он мыло-то от халвы не отличил? Эх! Как ни кричи халва-халва, а во рту от мыла сладко не будет.

От этих хозяев пришлось уйти. Раз украл — вовек вором в этом доме ославился. Что пропадет — все теперь на него думать будут. И опять шли они как калики перехожие, у кого на ногах обутки из холстины, у кого из старых солдатских голенищ, подобранных на дорогах. Шли они, шли — видят, люди под железнодорожной насыпью в траве некошеной что-то собирают. Подошли. Течет река — кисельные берега. Цистерна разбита с патоккой. Вечером валуи-лепешки (деликатес!) из мякины с патоккой пекли. Валуй — это гриб с желтовато-белой липкой, слегка вогнутой шляпкой, и лепешки похожи на грибы, растут горкой рядом со скорородкой, не успевают в рот кидать.

Шли от села к селу, от станции к станции. И грибы, и корни, и кору ели, как калики перехожие, переброжие. Вдруг счастливый случай представился: дочь Ольги Федоровны через полевую почту получила от мужа аттестат, на станции, где пришлось жить несколько месяцев. Это было чудо в годы военного массового перемещения людей, когда люди годами не могли отыскать друг друга. На аттестат пшено и комбиджир дали. Получила паек. Горсть пшена отсыпала нищенке с ребенком. Ели вареное пшено без хлеба.

Когда добрались до дома, прошла весна, прошло лето, и осень уже догорала красно-багровыми осиновыми всполохами. На ногах Славусика кожа, как подошва у старых ботинок. Центр города был разбит полностью. Улицы нельзя было узнать — двести двенадцать дней и ночей война разрушала их. Дом на Чижовке, где жил Славусик, был когда-то шикарный, большой, красивый. Раньше, до войны, там была пожарка. От дома остались три стены, в кухне закатана пушка, стволом направленная на левый берег. А рядом с домом сарайчик сохранился. Там хранили дрова, уголь. Открыла Ольга Федоровна свой старый сарайчик — там люди... Живое к живому тянется: тесно, темно, чуть ли не друг на друге на нарах лежат. Дети — посредине. Согревают друг друга телом. Сверху навалено тряпье, одежда.

— Мы здесь живем, — сказали они. — Наши дома разбомбили.

Стали жить все вместе. Собирали очистки, что выбросили с кухонь, около военных частей. Мыли их, соскребали, обчищали гниль и грязь и, добавляя мякину, делали валуи. Иногда удавалось подбить ворону — самое невкусное, самое неприятное мясо. Такой запах ужасный, когда ва-

ришь. А самое деликатесное блюдо — лягушки. В пойме реки есть ямы от воронок, они заполнялись водой. Рыбки маленькие плавают, завелись лягушки... Берешь лягушку, обмазываешь ее глиной, вырываешь ямку, и туда. И костер сверху. Разламываешь потом — вкуснятина. Устрицы и воробьи тоже ничего. А еще маслозавод был недалеко, там была макуха и семечки. Таскали, воровали, тянули все, что есть можно. А кутя — это самый дефицит был. Это пшеница или рожь, запаренная с сахаринном или патокой.

Потом огороды пошли, тыква дикорастущая.

— Ты ешь тыкву, а смотри на хлеб, — говорила бабушка Славусику. — Носом отодвигай хлеб, чтоб его быстро не съесть, а тыквы больше захватывай. Тыквы много напарили.

Отрезала она ломоть тыквы, а сверху — маленький кусочек хлеба положила.

А Славусик «ам» — и нету хлеба.

Бабушка ему по губам:

— Смотри на хлеб, а ешь тыкву!

— Я не могу.

— Минуту терпеть, а день жить. Терпенье — спасенье.

Потом начали хлеб давать по двести граммов на тех, кто работал. «Оттерпимся — и мы люди будем», — успокаивала бабушка.

И тут пришло, наконец, письмо от отца Славусика: «Из Германии в Россию выехал из города Ангермюнде десятого июня сорок пятого года в восемь утра. В восемнадцать часов был на реке Одер, а в двадцать один час тридцать минут были по другую сторону реки Одер, стояли два часа».

Есть по-настоящему — кушать хлеб — начали в пятидесятых годах. Славусик в первый раз наелся хлеба так, что его вырвало.

И сколько бы жители города ни занимались строительством, война до сих пор вылезает: то асфальт до деревни не успели провести, то в квартирах-хрущевках трубы проржавели, жильцы заливают жильцов, то крыши текут... Так сил и не хватило догнать и перегнать немцев в Ангермюнде...

Никак не забудут люди, пережившие войну, раны свои, так она в памяти и живет. Кто может сказать — через сколько лет восстановится в человеке радостное светлое чувство, освобожденное от страха голода и смерти? Немецкий барон фон Вейхс объявил своим солдатам десятого июля сорок второго, что потребуется сто лет, чтобы восстановить этот русский город.

Вячеславу Тихоновичу (Славусику) сейчас шестьдесят четыре года, когда он сжимает мужской большой, богатырский кулак и разжимает руку в локте на месте вены — белый шрам от канюли:

— Кулачком работай, киндер... Кулачком, — улыбается с горечью и говорит: — Жаль, нет у меня брата Тимы. Вот ленточка от его крестика сохранилась.

— А крестик?

— А крестик... поменяли на хлеб.

